

Куклы вуду

Шиншиллы появились у меня поздней осенью.

Сколько? Этот вопрос часто задаёт мне мама. Я улыбаюсь и отвечаю всегда одинаково, чтобы не запутаться: «Несколько».

И это чистая правда. В которой звучит некоторая драматическая нотка, когда дело доходит до кормления. Половина их рациона — сено. И заготавливать его надо в жаркий, звенящий долгий летний денёк, когда всё цветёт и брызжет под косой соками. А осенью косить... это уж если кто и соберётся, то только от армии... Но это точно не мой случай. Полезными знакомствами с фермерами обзавестись я тоже пока не успела. Приходилось покупать в магазине маленькие пакетики по цене мешков и стожков. Всю долгую зиму мои шуши получали сено «по карточкам» — маленький пучочек в одни лапки два раза в неделю.

Как только сошёл снег, я отвоевала на маминой даче свой земельный надел — увы, только одну сотку — и густо засадила его люцерной и клевером. Но, ясное дело, а богатый урожай и сытую зиму с такой плантации рассчитывать не приходилось...

Поэтому всех своих знакомых, которые едут на дачу, в деревню, просто на природу, я прошу привезти моим питомцам экологически чистый гостинчик... И снабжаю длинным списком съедобных трав, кустарников и деревьев...

Одна моя добрая знакомая, Люба, любительница всего живого, с которой мы вместе гуляем с нашими собаками, как-то привезла мне огромный пакет цветущей ароматной люцерны. Я искренне поблагодарила её от себя и шушиков и радостно потащила подарок в закрома — сушить и пополнять запасы.

Через некоторое время встречает она во дворе моего мужа и спрашивает: «Ну что, понравилась трава?» Он, думая о чём-то своём и не успев переключиться, отвечает: «Не знаю, ещё не пробовал...» Люба хватается за голову, потом за телефон и пытается прояснить ситуацию: «Люда, я что-то не поняла — что вы с травой делаете?!...» А я, собственно, уже всё позабыла и прямо в этот самый момент жарю блинчики к ужину, они так аппетитно шкворчат на сковородке, машинально отвечаю в продолжение процесса: «Жарю...» Потом, уловив какие-то подозрительные нотки в её голосе,

осторожно пытаюсь врубиться: «С какой именно травой?» Люба взрывается совершенно диким хохотом: «Попался Серёжа!» И далее добивает меня уже вместе с Серёгой Шнуровым...

Я вообще не знаю, что такое трава,
Я вырос в городе, там, где асфальт,
А то, что у меня сейчас в карманах,
То это зелёный чай!! Вау!

Однако же... мир не без добрых людей. Моя подруга теперь не косит люцерну, клевер, крапиву, одуванчики, пырей и прочие зелёные вкусности. У неё появился оголтелый волонтер, который только и следит, чтобы ни один полезный сорнячок не был сполот бездумной тяпкой и не полёг зазря...

Это деятельность, бескорыстная с обеих сторон, но если копнуть — это самый что ни на есть симбиоз. Мы нужны друг другу. Она радуется бесплатной рабочей силе, которая искореняет сорную траву на её любимой даче, я — незагрязнённой, сочной траве, впоследствии сену. Для моих любимых шунь...

Она подвозит меня к подъезду, помогает вытащить мешок из багажника, договариваемся, когда мы поедem снова на дачу, и уезжает. А я, довольная, почти счастливая, беру мешок и... натыкаюсь на любопытный, сверлящий взгляд соседа с первого этажа. Здравуюсь и захожу в подъезд. На спине дырка в ауре. Чувствую осязаемость его мыслей.

Со вторым мешком он меня уже не пропустил: — Здравствуй, Лида! А что это ты за мешки домой носишь?

— Здрасьте. Сено ношу.

Я люблю говорить правду. В этом есть своё очарование.

Сосед совершенно ошарашенно выдыхает: — Зачем?

У меня есть некоторый опыт знакомства с людьми, которые не любят животных, — да тот же самый Дмитрий, который смотрит на меня и ждёт ответа, тоже искренне не понимает, почему мой муж зимой и летом выносит корм и воду дворовым заморышам-котяткам или подброшенным месячным щенятам... Он пытается, но не может. И он даже спрашивал нас: почему вы их кормите? Для меня равносильно вопросу: а за что вы их любите?

Дмитрий всю жизнь прослужил в армии, а теперь сидит в инвалидной коляске, без ног. Ему пятьдесят, а в этой он уже не умеет любить. Он не знает, кого винить в той беде, что с ним случилась, людей или судьбу, и в глазах его столько... Но если говорить правду и одну только правду, то лучше и не начинать.

Вот и сейчас, несмотря на приятную лёгкость и удовлетворение, которую дарит чистосердечное признание, я не чувствую потребности в искренности и рассказывать ему про своих любимцев не собираюсь.

— Я делаю из сена матрасики и подушки. Знаете, как на них спится? Какие сны снятся?

И с загадочной улыбкой ухожу.

Дмитрий крутит головой, непонятно, верит или нет, но лицо у него становится задумчивым...

И этим летом как-то постепенно между нами образовалось некое подобие мини-таможни.

Погода хорошая, он с утра и до вечера патрулирует возле подъезда.

Я с очередным мешком останавливаюсь у входа, чтобы достать ключи.

Он, решительно подкатывая на коляске, с возмущением и ехидством одновременно, продолжает недавно начатый разговор:

— Снова на матрасики?

— Снова. Те примялись и стали жёсткими.

— Лида, ну скажи правду!— почти требует Дмитрий.

— Вы уверены, что хотите её знать?— тяну время, роюсь в сумочке.

Вот они, спасительные ключики, победный писк домофона— и Дмитрий позади. Никогда не оглядываюсь.

Последующие наши встречи стали какие-то странные: Дмитрий здоровался, но не заводил никаких разговоров, расспросов не возобновлял, мрачно смотрел на мешки или вообще отводил глаза.

Однажды за завтраком мой муж как-то острожно начал:

— Милая, забыл тебе сказать...

— Что, дорогой?

— Ты помнишь, у нас на работе день рождения у Вовки отмечали? Я тогда немного выпивший домой пришёл.

— Ну да, помню— такой смешной.

— Ты не сердись на меня?

— Подожди, а что случилось? Это месяц назад было, я уже забыла. Ты что-то натворил?

— Нет, ничего не случилось. Просто я тогда встретил Дмитрия возле подъезда. Ну, ты знаешь, я и трезвый поговорить люблю, а тут он, как репей, пристал. Зачем, говорит, Лида мешки с сеном домой носит???

— А ты?

— Ну, я помню, что ты запретила соседям про шиншилл рассказывать.

— Ну???

— А что им говорить?! Ты же не сказала.

— Так. Не тяни.

— Ну, я сказал, что ты кукол шьёшь и сеном набиваешь.

— Что?! А потом? Куда я их деваю?

— Сказал, что у тебя договор с экстрасенсом и ты их ему сдаёшь.

У меня перед глазами, как в безвоздушном пространстве нашей Солнечной системы, поплыли— чашки, чайник, цветочки на скатерти...

— Как ты мог до такого додуматься?!— возвращаясь в сознание, начала я.— Ведь вы же мужчины, он же тебе скорее поверит! Да ещё пьяному! Специально подгадал, когда разузнавать: что у трезвого на уме, у пьяного— на языке. Подумать только! Куклы вуду! Разве ты забыл, что наши соседи— это святая инквизиция?! Или ты смерти моей захотел, дорогой?!

— Лидочка, прости меня, дурака!— раскаялся муж.

Сразу вспомнилось мрачное лицо соседа. Вот почему! Хотя бы никому не разболтал, а то начнёшься для меня хождение по мукам.

Муж заглаживал вину как мог, и в конце концов мы просто посмеялись над этой блажью вместе.

И вот, уже в конце лета, тащу шиншиллячий мешок и нос к носу встречаюсь с Дмитрием. Я уже привыкла к его молчанию. Киваю, прохожу мимо. И вдруг сзади негромкий и печальный голос:

— Лид, ну уже на весь город хватит!

— Чего, сена?— рассеянно улыбаюсь я.

— Горя...

О счастье

Спроси у человека, что такое счастье, и ты узнаешь, чего ему больше всего не хватает.

Начало учебного года я встретила в ЛОР-отделении городской больницы. Я почти не спала из-за отита— по ночам болели уши. Каждое утро начиналось для меня тоскливее, чем если бы мне надо было идти в школу.

В шесть включался свет, и в палату входила хмурая заспанная медсестра с градусниками в стакане. Потом в коридоре, пропитанном неистребимыми запахами хлорки и антибиотиков, у медицинскому поста следовала раздача пузырьков с таблетками. Затем— унылая очередь в выстуженную ночным проветриванием и выжженную кварцеванием процедурку. После уколов и других медицинских экзекуций я снова ложилась в кровать, забираясь с головой под одеяло. Зажмурившись и стиснув зубы, я ждала, когда пройдёт ещё неделя— вторая половина обещанного лечащим врачом срока до выписки.

Как только я согревалась и расслаблялась, сердце начинало биться спокойнее. На меня накатывала дрёма. Веки тяжелели, и глаза закрывались сами собой. И тут, громыхая железной тележкой, на которой стояли большие эмалированные вёдра с дребезжащими на них крышками, в коридоре появлялась пожилая санитарка. Зычным голосом она созывала обитателей отделения на приём пресной и убогой больничной пищи: «Уши-уши, идите кушать!»

Двух моих соседок по палате звали тётя Маша и тётя Клава. Им обеим было под шестьдесят, и судьбы их оказались во многом схожими: полугодовалое детство в колхозе, чужие углы в городе, у одной были мужья-алкоголики, только одна развелась, а у второй — умер. Их разговоры начинались и заканчивались подробным описанием всевозможных хворей, а в промежутках они вспоминали свою жизнь, полную тягот, невзгод и обид, выпавших на их долю.

У впечатлительного тринадцатилетнего подростка, каким я тогда была, эти две горемыки отбирали всякие силы не только выздоравливать, но и жить вообще. Как два страшных призрака будущего, они своим примером олицетворяли безжалостность и неумолимость судьбы, ведущей через долгие страдания к трагической развязке.

Я доставала из тумбочки любимую книжку и пыталась погрузиться в неё, чтобы не дать засосать себя серому и тягучему инобытию. Но стоило мне начать читать, как буквы расплывались, и боль как раскалённым обручем сдавливала голову.

Поглядев пару раз на мои отчаянные попытки, сердобольная тётя Клава не выдержала:

— Брось-ка ты все эти книжки, детка. Нам сейчас голову напрягать нельзя. Побереги себя, ты ж такая молоденькая, ещё жизни не видела, а уже больная вся. Садись сюда, — она провела ладонью по заправленной кровати рядом с собой, — мы лучше с тобой вот что посмотрим.

Она выдвинула верхний ящик обшарпанной тумбочки, стоящей возле кровати, и достала пакет, в котором находилось что-то прямоугольное и увесистое, похожее на кирпич. Это оказался старый бордовый плюшевый фотоальбом с затёртыми углами.

Я обречённо присела на краешек её кровати. — Детских фоток у меня нет, растерялись, да и немного их было, зато вот, смотри — свадебные! Мы в шестьдесят первом поженились, когда Гагарин в космос полетел. Мой это событие неделю с друзьями праздновал, потом ко мне пришёл — глаза в кучку, уши враслопырку — и говорит: «Я хоть не космонавт, но тоже Юрка, выходи за меня!» А я на радостях и выскочила.

— По любви? — наивно, но почему-то с надеждой спрашиваю я.

— По дурости! — жёстко приземляет тётя Клава.

На мутной чёрно-белой фотокарточке был запечатлён стол, плотно заставленный бутылками и тарелками с едой, мужчины в тёмных мешковатых костюмах и узких галстуках, женщины в цветастых платьях и высоких шиньонах, и на заднем плане, на стене — ковёр с оленями. Рядом с улыбающейся невестой, у которой завитые волосы торчат из-под коротенькой пышной фаты, сидит пожилая измождённая женщина в скромном платочке, напоминающая тётю Клаву. По другую сторону — захмелевший жених в белой нейлоновой рубашке с мокрыми тёмными пятнами под мышками. В одной руке сигарета и рюмка в другой.

Тётя Клава водит по фото кривым от артрита пальцем, показывает на женщину в платке: — Это моя мамка. Здесь ей сорок лет.

Я недоуменно поднимаю брови, и тётя Клава поясняет:

— Она с двадцатого года, всё застала: и голод, и войну, да оно и после добра не было... — и безрадостно машет рукой.

Тут в разговор вступает подсевшая к нам тётя Маша:

— А ты думаешь, какая она — жисть в колхозе? Не жисть, а каторга, в трудах да нищете, вот так и избраталась-то к сорока годочкам...

Пока я своим пионерским прямолинейным умишком пытаюсь соединить высокое и почётное понятие «труд» с нелогичным для него следствием — «нищета», тётя Клава перелистывает страницы и продолжает что-то говорить.

Альбомные фотографии расположены в хронологическом порядке, и вот уже начинают появляться цветные снимки. Так и не найдя объяснений своим мировоззренческим нестыковкам, я возвращаюсь к просмотру.

На сером картонном развороте в фигурные прорезы вставлены три фотографии, и, взглядевшись, я чувствую, что внутри у меня всё сжимается и холодеет.

У открытого гроба, стоящего возле подъезда на двух табуретках, сидит плачущая тётя Клава в чёрном платке, внизу прислонены венки с траурными лентами. Возле усопшего полукругом собралась небольшая группа людей с печальными и сосредоточенными лицами, а чуть поодаль стоят музыканты с духовыми инструментами и большим барабаном.

На второй, как будто фотограф сделал несколько шагов вперёд и перешагнул невидимую границу, крупным планом восковое лицо покойника с бумажным венчиком на лбу. По углам гроба, в изголовье стоят зажжённые свечи, воткнутые в куски хлеба. На белом кружевном покрывале алым веером брошены гвоздики, и на их фоне мертвец выглядит особенно одиноким и страшным.

Я пытаюсь отвернуться, но взгляд, как примагниченный, переползает на третью фотографию.

На ней уже поминки: люди в тёмных одеждах сидят за столом в свободных позах, разливают по стаканам и стопкам водку, разговаривают, и у некоторых даже на лицах весёлые улыбки.

Я не знаю, что больше меня шокировало: то, что свадебная тема так резко сменилась на похоронную, или сам непонятный ритуал фотографирования смерти, да ещё так близко и подробно, или быстрота смены настроения людей, которые изображали скорбь.

— Тётя Клава, а зачем вы похороны фотографировали?!

— Да раньше как-то принято так было, на память, — не очень уверенно отвечает она, — даже у нас в деревне фотографа нанимали те, кто побогаче жил. — Так ведь помнить человека надо живым, а не мёртвым...

— А живым он мне всю душу вынул своими запоями да дебошами. Глазищи с утра водкой зальёт и начинает куролесить. Последние годы его трезвым и не видела.

— Я своему за то ж пенделя под зад и дала! — подхватывает тётя Маша. — Жаль того, что полжизни мне испоганил, всё об ём помирала, надеялась, что заживём как люди... Бабкам да вытрезвителям все деньги повытаскала. Всю жисть в одном платьишке ситцевом штопаном проходила. Не приведи тебе Бог нашего *горя мыкать*, ягодка моя, — жалостливо заканчивает она и заглядывает мне в лицо. — Твой-то папка не пьёт?

— Не знаю, когда я родилась, мама с ним разошлась.

Тут она заполошно всплёскивает руками и начинает причитать:

— Кла-ава! Да что ж ты его вместе с живыми-то повставляла? Разве не знаешь, что их нельзя смешивать?! Люди старые рассказывали, что не упокоится мертвецкая душа, пока не заберёт с собой... — Я ему заберу! Может, хоть в космосе своём проспится.

— А что с этими фото делать надо, тёть Маш?

— В чёрный конверт — и отдельно покласть, в дальний ящик или коробку с обуви. И выкидать нельзя...

Интересно, как только мужа отнесли и зарыли на кладбище, тётя Клава могла говорить, есть, пить, улыбаться? Или только тогда и смогла? Я смотрю в её выцветшие глаза, и мне хочется прямо в халатике выскочить на улицу и бежать без оглядки сколько хватит сил от неё, от их долгих вечерних «задушевных» разговоров, от этого места, где всё пропитано стонами, вздохами, ночными вскриками.

Столетнее краснокирпичное здание городской больницы стало ветшать и разрушаться не только от времени, но и от человеческого горя и страданий. Если о храмах принято говорить «намоленное место», то о нём точнее было бы сказать «наболенное» — наболевшее. А вот внутренний дворик

здесь удивительно хороший — уютный и ухоженный. В нём много ещё по-летнему ярких цветов. На аллеях, под берёзами и клёнами, расставлены старые лавочки с плавными изогнутыми линиями. Но даже выйти погулять в больничный двор я не могла из-за дождливой и ветреной погоды, которая стояла уже неделю.

Чуть наискосок через дорогу от больницы располагался огромный машиностроительный завод. Наверное, не было в городе такой семьи, которая не имела бы к нему отношения. И моя мама тоже работала на этом заводе. Однажды она решила взять меня туда на экскурсию. Прошли мы через проломленную дыру в бетонном заборе. Про неё знали все: и охрана, и работники, которые пользовались этим кружным путём, в обход проходной, когда по утрам или с перерыва опаздывали на работу или когда требовалось беспрепятственно пронести спиртное.

Прошло много лет, но я до сих пор с содроганием вспоминаю задымлённый и грохочущий цех с едва различимыми в полутьме станками устрашающих размеров, между которыми сновали силуэты в спецовках. Мне показалось, что я попала в ад. Мы стояли посреди этого надвигающегося лягающего ужаса, и я, четырёхлетняя девочка, дрожала как осиновый лист. Изо всех сил сжимая тёплую мамину руку, я собиралась сказать, что защищу её от всех чудовищ на свете. Но мама опередила меня.

«Это цех, где я работаю, — гордо сказала она. — На этих станках вытачивают из металла всякие детали, — мама показала на кучу радужной металлической стружки на бетонном полу. — Видишь, вот как мы с тобой картошку чистим, так и он из железной болванки срезает лишнее, и появляется что-то нужное. А посмотри вверх — это мой кран! Помнишь, я тебе стишок читала: „Краном висящим тяжести тащим; молот паровой гнёт и рельсы травой“. Вот вырастешь большая, придёшь и тоже будешь здесь работать».

Я с болью и недоумением смотрела на неё и про себя твердила: «Никогда! Никогда я не приду на этот кошмарный завод, и если бы я только могла, никогда-никогда не отпустила бы тебя больше сюда. Чтоб он развалился на куски!» И, видимо, настолько это детское желание было жгучим, искренним и всеобъемлющим, что спустя годы он действительно развалился, вместе со страной, строем и укладом жизни...

В полдень, как только раздавался протяжно ревущий заводской гудок, я хватала тёплую кофту, на ходу засовывая руки в рукава и застёгивая пуговицы, сбегала по старой лестнице на первый этаж в вестибюль. Становилась у окна и начинала представлять, что происходит сейчас через дорогу...

Переодевшись, мама выходила из цеха и спешила в заводскую столовую. Полный комплексный

обед она не брала, а наспех съедала только первое или второе. Потом забегала в кулинарию, где покупала мне диетическую лепёшку, язычок из слоёного теста, пирожок с повидлом и торопилась ко мне в больницу. А через пятнадцать минут ей снова нужно было возвращаться на завод.

Я начинала ждать её, как только утром открывала глаза, и каждый раз просила не приносить мне ничего, чтобы она не расплавилась в кулинарии драгоценным временем наших коротких свиданий. Я вдохновенно врала, что нас кормят очень вкусно и питательно, но мама не могла себе позволить прийти в больницу с пустыми руками.

После быстрого обмена вопросами и ответами в больничном холле я возвращалась в палату. На душе у меня теплело, и в тихий час я лежала с закрытыми глазами, прогреваясь ощущением ещё звучащего во мне маминого голоса и невесомых прикосновений её рук.

Я думала о том, что так было всегда, начиная с момента, как я себя помню. Мама уходила на работу в шесть утра, и я страшно боялась пропустить этот момент. Вскакивала спозаранок, чтобы увидеть тонкую полосочку света из-под двери на кухню, услышать тихий звук закипающего чайника и просто посидеть за столом рядом, пока она выпьет чашку чая и съест завтрак. Потом, чтобы не мешать ей собираться, я садилась на стул, стоящий в углу, из которого просматривались все пути из комнаты на кухню и в коридор. И когда мама расчёсывалась и одевалась перед трюмо с тремя зеркалами— оно называлось трельяж, я счастливо смотрела на неё и её отражения, и это было для меня как вознаграждение за предстоящую разлуку на целый день.

Вечером снова всё повторялось, только наоборот. Она приходила поздно, а я ждала. Несколько раз за вечер бегала в ванную и умывалась там холодной водой, чтобы не хотелось спать.

После четырёх смена заканчивалась, мама выходила на остановку, которая назвалась так же, как и завод, ждала автобуса и ехала на вторую работу. Мама выбивалась из сил, чтобы выплатить кредит за кооперативную квартиру, куда она переехала вместе со мной после развода.

Поздно вечером, когда мама освобождалась, больница была уже закрыта для посещений. Поэтому я начинала готовиться ко сну сразу после ужина. Тщательно чистила зубы, расчёсывалась, медленно и плавно проводя по волосам щёткой усыпляющими равномерными движениями. А чтобы не слышать бесконечных нудных разговоров своих соседок, отворачивалась стенке и, заткнув уши ладонями, пела про себя колыбельные песни, пока не засыпала.

Откуда ни возьмись в приятное полузабытьё врывается громкий разухабистый мотив:

Бывали дни весёлые—

Гулял я, молодец

Я подсказываю на кровати, не разобрав, где я, всё ещё надеясь, что это сон, но мои соседки тоже сидят на кроватях с выпученными глазами. И прямо у нас под дверью пьяный голос, дико фальшивя, выводит:

Не знал тоски-кручинушки,

Как вольный удалец.

— Мужики, што ли, напились и песни орут? Куда врачи смотрят? Держат тут всякую алкашню...— возмущённо вопрошает тётя Маша и, чтобы удостовериться, набрасывает на ночнуюшку халат, выглядывает в коридор и отшатывается назад.

Дверь в ординаторскую— нараспащку. Из всех палат выглядывают непонимающие, удивлённые, перепуганные лица. По коридору, шатаясь и шаря руками по стенам, бредут вдрызг пьяные все три доктора и старшая медсестра с букетом цветов. Солирует наш, остальные одобрительно смеются и подтягивают в разных местах...

На лестнице раздаётся характерный звук падающего тела и бьющегося стекла. И вслед за этим резкая спиртовая волна, как цунами, заполняет «ароматом» всё отделение.

По мужским палатам дружно прокатывается протяжный и горестный стон.

Из разбитой трёхлитровки по ступенькам захватывающими дух каскадами стекает медицинский спирт.

— Ах ты ж, *етить твою разьетить*, опять порядок наводить!— качая головой, вполголоса бормочет санитарка.

Я проснулась такой уставшей после этого дикого ночного происшествия, что еле волочила ноги. Перетерпев все назначенные обязательные процедуры, подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. С того дня, как я попала сюда, впервые после полосы проливных дождей выдался светлый сентябрьский день. Я смотрела на мокрые, растрёпанные дождями и ветрами головки астр и георгинов, мечи гладиолусов, полёгшие на клумбах в неравном бою с наступающей осенью, и не могла ни на чём сосредоточиться, всё расплывалось и ускользало.

Соседки пошли «погулять» по коридору, разузнать и обсудить последние новости, а я присела возле окна и решила накрашивать ногти...

И вдруг длинный солнечный луч пробился сквозь пелену белых облаков и упал мне на руку. Алый лак ярко вспыхнул, зарделся волшебным диковинным цветком, и всё внутри меня внешне как будто просияло, проснулось и ожило, наполнилось силами и потребовало движения. Я на секунду прислушалась к себе и безошибочно поняла, что именно хочу сделать немедленно.

Я оделась и выскочила на улицу. Нырнув в подземный переход и вынырнув из него на другой стороне дороги, я вошла в тенистый скверик и остановилась под раскидистой кроной старого каштана сбоку от проходной. Аллея с чугунным памятником вождю пролетариата, ведущая к остановке, была пуста, на клумбе ещё пламенела сальвия, свежий воздух бодрил тело и очищал мысли.

Наконец громкий длинный гудок возвестил перерыв на обед. И сразу, как будто открылись шлюзы, людская толпа, как вода под напором, хлынула вперёд, дробясь и разлетаясь на свободные частицы. На короткую жизнь от гудка до гудка.

В потоке лица сливались, и я пожалела, что стала слишком близко у проходной. Боялась, что пропущу и не увижу то единственное и родное, на которое столько лет не могу насмотреться.

Я напряжённо вглядывалась в это людское скопище, и вдруг перед выходом мелькнуло яркое голубое пятнышко. Моё сердце радостно подпрыгнуло в груди, и я беззвучно закричала: мама! Сегодня она надела моё любимое голубое в тонкую белую клеточку платье, которое я уговорила её купить во втором классе.

С той самой памятной экскурсии я редко что просила купить для себя, потому что понимала, чем оплачиваются покупки, а если мне требовалось что-то действительно необходимое, оно появлялось и без напоминаний... Но когда я увидела это платье, сначала на своей первой и любимой учительнице, а потом в магазине, в который пришли вдвоём с мамой, я бесповоротно решила, что без него мы отсюда не уйдём.

Я вцепилась в неё, как клещ, и умоляла «только померить, и всё». Мама смутилась и, не разгадав моей военной хитрости, согласилась. Платье так ладно село на её стройную хрупкую фигурку, так было ей к лицу, делая его моложе, глаза ярче, улыбку светлее! И это ещё больше укрепило меня, и я сделала следующий шаг.

«Тут такой свет плохой, давай выйдем в зал к большому зеркалу...» И здесь не почуяв подвоха, она доверчиво вышла из примерочной. Я обняла её возле зеркала и громко, со слезами в голосе, завела вольтинку на весь магазин: «Мамочка, купи его! Пожалуйста!! Я тебя очень прошу!!!» Какая-то женщина неодобрительно посмотрела на меня и сделала замечание: «Такая взрослая девочка — и такая несдержанная, капризная, выпрашивает себе платье! Нельзя быть такой эгоисткой!»

Я про себя обрадовалась и ещё жалобнее продолжала, совсем вогнав маму в краску.

Бедная моя мама! Но мне всё равно не стыдно за этот поступок. Это платье не один год согревает, украшает её, а сегодня ещё подало мне особый знак...

Пока я вспоминала историю его появления, мама уже поравнялась со мной, и я совсем близко

видела её нежный висок, слегка тронутую загаром щёку, худенькую шею и узкие плечи. Она стремительно шла вперёд, и по её светлomu лицу было понятно, что она сейчас не здесь, а уже подходит к больнице...

А я всё стояла, смотрела и не могла ни сдвинуться с места, ни окликнуть её. У меня перехватило дыхание, из глаз текли слёзы, и я быстро-быстро моргала, чтобы они не заслоняли лучшую в мире картину, которая навсегда запечатлелась в моём сердце.

Окошко

Вася проснулся, но решил пока глаза не открывать. Он стал прислушиваться, как на кухне поёт весёлую песенку чайник и ему в ответ позвякивают чашки и блюда, а за окном бодро чирикают воробьи и звонко перекликаются синички. Вася представил, что у них на шее висят малюсенькие колокольчики, и когда синички прыгают с ветки на ветку, они тоненько и нежно звенят. И тут отворилась дверь, и в комнату вошла мама. Он сразу её узнал по тихим мягким шагам в пушистых серых тапочках, похожих на двух ласковых котят, потом по тёплому родному запаху. Мама наклонилась к Васе и поцеловала его в щёку:

— Доброе утро, сыночек! Сегодня особенный день — день твоего рождения! К тебе придут твои друзья. Будет весёлый праздник. Я испекла вкусный пирог. А это тебе подарок.

Вася открыл глаза, сел на кровати и засмеялся от радости. Это была яркая расписная картонная трубочка, внутри которой что-то тихонько позвякивало. Вася увидел с одной стороны маленькое круглое окошечко. Ему стало интересно, он осторожно заглянул в него. Темно.

— Сынок, это называется калейдоскоп. Поверни его к свету, и ты увидишь... — мама не успела договорить, как Вася спрыгнул с кровати, босиком подбежал к окну, поднял калейдоскоп повыше и поднёс к глазам...

Внутри что-то звякнуло, и сложился чудесный узор. Это было похоже на нежные розовые цветы, головки которых раскачивались от ветра, а вокруг дрожали прозрачные стёклышки, похожие на крылышки стрекозы, сквозь них лился тёплый свет и ещё что-то голубело...

Ой! Его рука почувствовала, что прикоснулась к чему-то прохладному и мокрому! «Да это же речка!» — догадался Вася. Он быстренько снял одежду и вошёл в воду. Речка ласково зажурчала, окутала и обняла Васю. Вода была приятной и освежающей, вся в светлых солнечных пятнышках. Маленькие серебристые рыбки резвились вокруг и совсем не боялись его. Вася лёг на воду, и она тут же поддержала его, он плавно развёл по воде руками и поплыл.

— Я самая большая рыбка! — гордо сказал Вася, все рыбки согласились, и они долго играли вместе, ныряли, выпрыгивали из воды, догоняли друг друга...

Потом Вася вышел на берег, тёплое солнышко обсушило и согрело его, и он заснул среди волшебных ярких цветов, имён которых он не успел спросить, и они тихо напевали ему свои самые душистые мелодии.

На порог дома вышла мама и позвала его. Он радостно побежал ей навстречу. Потом оттолкнулся от земли и плавно полетел. «Вот как хорошо!» — радостно подумал Вася, снижаясь, потом ещё раз легонько оттолкнулся от земли и почувствовал себя совсем невесомым и легко поплыл по воздуху... прямо в мамины объятия. Потом они пошли пить чай. На кухне ярко горел уютный свет, тёрлась о ноги кошка Монька, усы у неё были в молоке, пахло свежеспечёнными пирожками. «С яблоками! Мои любимые», — угадал Вася, поднёс пирожок ко рту и вспомнил о замечательном подарке. — Ещё разочек посмотрю!» — соскочил с табуретки, побежал в комнату, взял калейдоскоп, встряхнул его.

... Узор теперь был ярким и чётким: зелёные, красные и синие ромбы и треугольники сложились в мозаичную картину. Это был целый город с башнями и фонарями, мостами и площадями. Всё это неуловимо изменялось, мерцало и пульсировало. Вася всмотрелся пристальнее и увидел поток машин, который мчался, сверкал разноцветными огнями фар, ощутил запах бензина и множество других самых разных запахов, среди которых самым приятным был запах приближающегося дождя. «Скорей бы уж дождь пошёл, а то дышать совсем нечем», — подумал Вася, достал из кармана пиджака платок, вытер пот со лба. «Не буду в автобус садиться, пойду пешком», — решил он вдруг, — как раз обдумываю завтрашнее выступление на совещании». Когда остановка осталась далеко позади, а до дома тоже было ещё далеко — хлынул дождь. Он ускорил шаг, но всё равно почти сразу же промок до нитки, а его ботинки разбухли от воды и стали тяжёлыми. «А ещё Джека нужно выгулять», — со вздохом вспомнил Вася.

Джек, большой и лохматый, уже терпеливо сидел в прихожей. Поводок и ошейник лежали

рядом на полу, как укор. «Одному гулять нехорошо», — читалось в преданных карих глазах пса. Вася быстренько переоделся в сухую одежду, взял зонт, и они с Джеком отправились на прогулку...

— Чай совсем остыл. О чём ты думаешь? — внезапно донёсся до Васи чей-то встревоженный голос.

Он повернулся и увидел незнакомую женщину, которая внимательно смотрела на него. Вася быстро посмотрел по сторонам: ну да, он дома, на кухне, сидит на своей старенькой скрипучей табуретке... А женщина?.. Вася отогнал странные мысли и смущённо улыбнулся. Конечно же, это Рита, его жена, любимая и добрая, которую он встретил ещё в институте, самая весёлая и красивая девушка на свете. И что ему такое показалось?

— Да устал немножко, пойду отдохнуть.

Он вошёл в комнату, включил свет. «Маленькая совсем комнатка», — подумалось ему в очередной раз. — Ну ничего, скоро перееедем. На новоселье пригласим, — он начал вспоминать коллег по работе, друзей и знакомых. — Надо никого не забыть, а то вот наши соседи говорили, что уже и подарок купили, хорошие люди, жаль будет расставаться. Вещей перевозить немного...» Он бережно погладил рукой фотографию мамы, которая стояла в рамке за стеклом на книжной полке. Печально вздохнул и увидел стоящий рядом калейдоскоп, взял его и осторожно встряхнул...

Тихий, еле различимый шорох осенней листвы... Такой умиротворяющий, что Вася незаметно задремал и увидел себя со стороны сидящим на лавочке, в соломенной шляпе, с палочкой в руке, под почти прозрачным облетевшим деревом, а над ним жемчужно-серое небо. Жёлтый кленовый лист, плавно покружившись над его головой, опустился рядом на нагретую солнцем лавочку. Вася чувствовал покой и безмятежность, ему не хотелось никуда идти, ни о чём говорить... Только одна неясная мысль никак не уходила и немного тревожила его: «Жизнь прошла, как три раза в окошко посмотрел».

Кленовый лист прямо на глазах потемнел и свернулся в лёгкую тончайшую коричневатую трубочку, из которой лился чистый и яркий нездешний свет. Вася протянул руку...